



Эмма Григорьевна Герштейн

Кому интересно про Лермонтова и много, тогда вам — к Эмме Григорьевне Герштейн. А кому про Эмму Григорьевну Герштейн и совсем немножко (так, мелочь), тогда ко мне.

Она умерла, так и не простив Мартынова.

Представляете: ненавидела смолоду, как только узнала, что он наделал! Ненавидела в середине жизни. Ненавидела в старости. И всегда — с молодой страстью ненавидела, аж завидно!

Спорила-то она со многими: то вслух, то про себя. Жаль, никто из оппонентов уже не мог ей ответить. Даже, кажется, Мандельштам уже не было в живых, когда Эмма Григорьевна подчеркивала те места в книге Надежды Яковлевны, которые ей казались неточными.

Вот пишет, к примеру, Надежда Яковлевна про их молодые развлечения (они же дружили тогда, как самые обычные люди, как мы, скажем). Пишет: «Пришла Эммочка, веселая, скакала козой по кровати». (Это я по памяти, разумеется). А Эммочка Григорьевна тут же и корректирует: это, мол, большая неправда жизни — я точно помню, то ли она сама скакала, то ли мы все троим, с Осей.



Таня Лоскутова с Инной Варламовой

Кроме того что точность уважала, была страшно недоверчивой!

В одном подъезде с ней жила наша общая подруга Инна Варламова — писатель, подписант, сумасшедшей честности и (что мне важнее) огромной моей любви к ней человек. У Инночки, правда, было двое детей, внуки. Но жила она одна. Как и Эмма Григорьевна, которая, вроде, и замужем не была ни разу, но почему не было детей, убей меня, не пойму.

Ладно, я не про себя. Что делают обычно две соседки-подруги? Правильно! Соревнуются, кто раньше газетный кроссворд разгадает, варят по очереди суп, изучают вкусы и привычки друг друга. Про серьезную часть их жизни пусть кто-нибудь еще пишет, я

не умею. А Инну если вспоминать начну, плакать захочется. Нет уж, лучше про глупости, но незареванная.

Например, звонит Инна Эмме Григорьевне и спрашивает, будет ли та сегодня варить суп? А Эмма Григорьевна непременно скажет: «А это зависит от того, зачем Вы спрашиваете». И так изо дня в день. И Инна изо дня в день встает в тупик. И изо дня в день что-то обстоятельно отвечает.

Эмма Григорьевна Герштейн не любит: сюрпризов (она не верит, что они бывают и хорошими, хоть и нечасто); давать читать книжки; двусмысленностей, «неприличностей», как она говорит; незнакомых людей (зачем они, если достаточно знакомых?). Что еще? Ходит по дому в длинном платье (капоте?), на затылке — маленькая фига из седых волос. Когда открывает дверь, раз восемь спросит: «А кто это?» Раз восемь получив ответ, воскликнет: «Ах, это ты, Танечка?! А то я думаю, кто это может быть, а это ты, Танечка!» Звучит все это невнятно, так как в губах у нее шпилька для волос. Когда одним движением соорудит свою фигу, тогда и впустит в дом. Наверное, когда одна — ходит с распущенными волосами.

Вспомнила, что я хотела рассказать.

Однажды, вопреки своей нелюбви к одалживанию книг, Эмма Григорьевна дала мне журнал «Аполлон». Домой! Не спрашивайте, чего вдруг. Может, от меня устала, от судорожного перелистывания страниц у нее на кухне. Может, потому что картинки в журнале никак не перекликались ни с Лермонтовым, ни с Мартыновым, ни даже с Мандельштамами. А может потому, что считала, что если от меня и есть какая-нибудь польза, то это — веселить, забавлять и напрягать (а, значит, держать в тонусе) ее, Эммочку Григорьевну.

И когда я собралась идти к своей Инне играть в карты (почти каждый день или ночь, кстати), захватила с собой и журнал. Трудно что ли, по дороге на девятый, не закрывая лифта, остановиться на пятом и продемонстрировать обязательность?

Но, выходя из своей квартиры, наткнулась на приехавшего ко мне из Питера друга. Он считал, что мы близки настолько, что можно было являться без звонка. Я считала, в свою очередь, что мы близки настолько, что его появление не должно менять мои планы. Я впустила его в дом, рассказала куда иду и обещала вернуться к вечеру.

Чтобы дальнейшее было понятней — два слова про него, Гелия Донского.

Это питерский известный библиофил, собиратель всех, вся и всего на свете. Он проходил по одному делу с Мишей Мейлахом (запрещенная литература и прочее), отсидел, отбыл в лагере. По их «делу» меня держали шесть часов на Лубянке, лет пятнадцать назад он разыскал меня в Америке, приезжал еще несколько раз, познакомился с моими здешними друзьями, влюбил в себя всех и убыл в Питер.

Но это все потом, а тогда он воскликнул: «Как! Ты знакома с Герштейн?! Почему я не знал?! То есть как — неинтересно???

Срочно познакомь!!!» Мои аргументы про «чужих людей», про другие слегка приукрашенные фобии он слушать не стал.

У него на все на свете было три реакции: «Это колоссально интересный человек, хоть и гад!», «Не обижайся, но это мне колоссально неинтересно, хоть и интересно!» и «Ты мне это отдашь! Ты ведь понимаешь, что мне это нужнее! Потому что мне это колоссально нужно!»

Из-за этого шаманства в его библиотеку перекочевала книжка с автографом Курта Воннегута с шутливой надписью автора моему мужу «Феликсу с любовью к Тане. Курт Воннегут». Разумеется, он нас не знал! Но общие близкие друзья, как и мы, любили сюрпризы.

Сдалась я и на этот раз: «Возьми Аполлона, позвони в дверь, ответь на все вопросы закрытой двери, если откроет, постарайся просунуть ногу в щель, как бы мала она ни была, и начинай говорить без остановки! Что она любит? Ну, больше всего любит соленые анекдоты, всякие скабрёзности, двусмысленности, еще лучше — трехсмысленности, главное, чтобы все это было неожиданно и остро-



Таня Лоскутова с Гелием Донским



Таня Лоскутова, 90-е

умно! Только от тебя зависит, сколько Эмма Григорьевна тебя вытерпит. Главное, чтоб ни одного зазора, ни одной паузы!»

Я позвонила Эмме Григорьевне, сказала, что спешу, что альманах занесет ей мой друг, и шлепнула трубку на место.

В соседнем доме я выпустила Гелю на пятом этаже и поехала выше.

Через несколько часов раздался телефонный звонок. Я просунула свое ухо между Инночкиным ухом и трубкой.

Голос на том конце был приподнятым. «Инночка, я говорю из туалета. У меня вот уже четыре часа сидит незнакомый молодой человек. Я не могу громче. Он уверяет, что Танечкин друг. Он рассказывает такие неприличности, я никогда такого не слышала. Завтра я Вам все расскажу, я все запомнила!»

Больше мы об этом не говорили. Это был конец 70-х, потом Гелю посадили, и события до конца 80-х громоздились с такой скоростью, налезали друг на друга, что скоро их стало больше, чем времени на воспоминания о них.

До самого моего отъезда Эмма Григорьевна при встречах хитро на меня смотрела, улыбалась больше обычного, а иногда, казалось, что она мне подмигивает.

Хоть этого уж не могло быть точно. Никогда.

*Этот текст был опубликован на сайте журнала «Этажи» 13 декабря 2015 года.
Фотографии из архива автора.*